



С. Л. ФРАНК

«Вехи» и их критики

«Есть разные способы любить свое отечество; например, самоед, любящий свои родные снега, которые сделали его близоруким, закоптелую юрту, где он, скорчившись, проводит половину своей жизни, и прогорклый оленин жир, заражающий вокруг него воздух зловонием, любит свою страну, конечно, иначе, нежели английский гражданин, гордый учреждениями и высокой цивилизацией своего острова; и, без сомнения, было бы прискорбно для нас, если бы нам все еще приходилось любить места, где мы родились, на манер самоедов. Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное — это любовь к истине»¹.

«Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истинной»².

Не на шумную ныне тему о национализме хочу я говорить, и не для нее я привел замечательные и, вероятно, многим памятные слова о любви к отечеству из «Апологии сумасшедшего» Чаадаева. Всякий, кто не лишен чутья нравственной правды, признает, что — как бы ни относиться к национализму и патриотизму — тот узкий самовлюбленный шовинизм или «квасной патриотизм», о котором так горько говорит Чаадаев, есть действительно невысокое и недостойное человека чувство³. В частности, каждый русский интеллигент и прогрессист, разумеется, с радостью подпишет под словами Чаадаева. Ему вспомнится, вероятно, наша несчастная война и то лицемерие и пристрастие, с которыми «патриоты» самоедского типа не позволяли говорить о наших военных и политических беспорядках. И от всей души повторит вслед за Чаадаевым, что настоя-

щую любовь к родине питает только тот, кто открыто говорит о ее язвах.

Таким образом, как будто нет сомнения, что чувства самоеда к закоптелой юрте и прогорклому оленьему жиру чужды русскому интеллигенту. Со времени Лаврова он знает, что он — «критически мыслящая личность», призванная стоять выше среды, изобличать ее недостатки и двигать ее вперед⁴. Однако если мы захотим, не ограничиваясь первым впечатлением, проверить, в какой мере *принципиально это* преодоление шовинизма в русской интеллигенции, то мы не должны забывать, что вопрос идет о нравственной победе над слепым и пристрастным отношением к той среде, которую действительно любишь, считаешь родной и близкой себе. Допустим, что под «отечеством» в приведенных словах Чаадаева разумеется не нация, не государство, не господствующий политический строй, а духовная атмосфера, в которой живет интеллигент; назовем родиной интеллигента кружок, в котором он вращается, идеи, привычки, традиции, которыми он окружен; словом, предположим, что речь идет о том маленьком «отечестве» каждого из нас, которое зовется «русской интеллигенцией». Спрашивается, в отношении *этого* отечества свободны ли мы также от патриотизма «на манер самоедов»? Исполнены ли мы и здесь той свободы мысли и истинно человеческой любви, которые не только совместимы с самокритикой и самообличением, но прямо их требуют?

Именно этот вопрос волнует участников сборника «*Вехи*», посвященного критике интеллигенции; с этим вопросом они молчаливо обращаются к обществу, и от его решения, по их мнению, зависит судьба нашей родины. Группа писателей, соединившаяся в «*Вехах*», пришла к согласному убеждению, что наступила пора проверить и оценить порядки и нравы нашего духовного отечества, именуемого «интеллигенцией». Если неудача внешней войны обратила внимание общества на пороки той среды, которая за нее ответственна, то совершенно так же, по мнению этих писателей, неудача освободительного движения и последовавшая за ней деморализация тех слоев, которые в нем участвовали, должны раскрыть глаза на давно уже смутно сознававшиеся недостатки традиционного уклада русской интеллигенции.

Они полагают также, что если было недостойно и лицемерно винить внешнего врага за его «коварство» — как это делали шовинисты — вместо того чтобы оглянуться на себя самих и сознать свою ответственность, то столь же унижительно и — со-

знательно или бессознательно — лицемерно успокаивать себя в неудаче освободительного движения негодованием против его врагов. Этому непроизводительному обличению противника они противопоставляют самообличение и покаяние, которое они пережили сами и к которому призывают других, — то, описанное Чаадаевым, нравственное настроение, в котором «любовь к истине» восстает против «слепых влюбленностей».

Хорошо или худо они исполнили свое дело, верны или нет их покаянные мысли — об этом они не могут судить сами; одного лишь они вправе ждать — серьезного и добросовестного отношения к поднятому ими вопросу или, иначе говоря, того, чтобы голос их не был заглушен шовинистическими криками.

Если судить об общественном мнении по газетным откликам, то, к сожалению, приходится отметить, что мы еще весьма далеки от преодоления шовинизма. По поводу «Вех» были высказаны именно те «жалкие слова», которыми слепое пристрастие всегда старается преградить путь разоблачению правды. Господин Философов в «Нашей газете» говорит о «свисте карающей лозы», который слышится ему на каждой странице «Вех», о «злорадстве» и «жестокости», с которыми «собственные дети» интеллигенции «позорят ее, бьют лежачего», и находит, что «вся интеллигенция не может не протестовать» против этого «как один человек». Господин Игнатов в «Русских ведомостях» говорит об «интеллигенции на скамье подсудимых», о «недостатках предварительного следствия» против нее, ставит вопрос: «А судьи кто?», полагает, что «прокуроры» повинны в тех же грехах, что и обвиняемые, и заявляет, что не может «отнестись иначе как отрицательно ко всему обвинительному акту». Характернее всего, что оба критика мимоходом и как бы в виде побочного замечания выражают согласие по существу с мнением участников «Вех». Так, г. Философов категорически признает: «Да, на русской интеллигенции лежит много грехов», а г. Игнатов подтверждает *«совершенную справедливость»* некоторых пунктов обвинения». Но... но дальше идет самое существенное для критиков «Вех». С точки зрения г. Философова, «все эти грехи забываются, когда видишь упомянутые уже “злорадство и жестокость”». И точно так же г. Игнатов, несмотря на свое полное согласие с некоторыми пунктами обвинительного акта, не может ему сочувствовать, потому что его не удовлетворяют прокуроры.

Казалось бы, в этом мимоходом брошенном согласии с некоторыми оценками, высказанными в «Вехах», и состоит самое важное и единственно интересное. По сравнению с основным

вопросом — на верном ли пути стоит или стояла доселе наша интеллигенция, повинна ли она в тех грехах, на которые ей указывают, — теряет всякое значение субъективная характеристика авторов вопроса, оценка приличия, нравственности и тактичности их поведения. Пусть они плохие и грешные прокуроры, пусть они исполнены дьявольских чувств злорадства и жестокости, являют печальный образец непочтительных детей, которые позорят свою родную мать и бьют лежачего. Все это очень мало интересно, и, в конце концов, есть дело только их личной и писательской совести. Если они говорят неправду, покажите это; если же, как вы сами признаете, в их словах есть хотя бы доля правды, то эта правда важнее всего, и только о ней и стоит говорить.

Но, кроме того, все эти жалкие слова суть именно только слова. Что касается упреков в злорадстве и жестокости, в прокурорском отношении к интеллигенции, то это есть чтение в сердцах и притом весьма плохое. Участники «Вех» всем своим прошлым близки к интеллигенции; упрекая ее, они высказывают оценку среды, с которой они тесно связаны, и их обличение есть вместе с тем самообличение, проверка путей, по которым шли они сами. Упрекать свою мать еще не значит позорить ее, и если бы заповедь о почитании родителей имела безграничное значение, жизнь должна была бы застыть на месте. Господин Философов не стесняется ведь жестоко критиковать православную церковь, которая бесспорно есть «мать» исповедуемой им церкви Третьего Завета⁵; и вся интеллигенция справедливо не колеблется «позорить» старую Россию, которая есть все же мать России живой. Мы не отрицаем уважительности консервативного чувства почтения к старому, но всякий консерватизм имеет законные пределы, за которыми он становится гибельным и нравственно непозволительным. И не странно ли, что об этой чрезмерности консерватизма приходится напоминать апологетам радикализма? И, наконец, что значит «бить лежачего»? Известно, что *comparaison n'est pas raison*⁶ и что всякое сравнение хромает. Писатель может «бить» только словом, в этом смысле иногда нужно «бить» лежачего, чтобы научить его встать и впредь не падать. Все эти обвинения — не что иное, как старые, знакомые выкрики шовинизма, который против правдивой оценки вещей апеллирует к обидчивости и слепой самовлюбленности.

«Если говорить правду значит бесчинствовать — *будем бесчинствовать!*» Эти бессмертные слова блаженного Августина служат девизом всякому писателю, уважающему себя и веря-

щему в правоту своего дела; в них черпают силу и участники сборника «Вехи». Они ищут и просят критики, чтобы из столкновения мнений родилась истина; они ждут живого отклика по существу на их живое слово; и они верят, что соображения приличия и добродетельности не могут задержать надолго успехов дела, в котором есть хоть доля правды.

Мы не упомянули еще об одном критике «Вех» — г. Левине, который высказался о них в «Речи». Этот критик не похож на тех, о которых мы только что говорили. «Вехи» не обидели и не взволновали его; он просто нашел в них «проповеди как проповеди: усыпляют не хуже других»; и ограничил свой разбор тем, что отметил (с натяжкой, ясно вскрытой возражавшим ему А. С. Изгоевым) противоречие между мнениями двух участников сборника. Об этой оценке много говорить не приходится. Кто достиг столь блаженного состояния, что всякая проповедь независимо от ее темы, своевременности, правдивости способна только усыплять его, того, конечно, не пробудит от сладостного покоя и жгучая проблема переоценки интеллигентских ценностей — проблема, от решения которой зависит вся наша будущность. Пусть в таком холодном скепсисе содержится высшая жизненная мудрость — она, думается нам, не менее усыпительна, чем проповедь, и во всяком случае совершенно бесплодна. Для этого пресыщенного настроения все должно быть одинаково скучно и ничтожно: проповедь критиков интеллигенции, как и проповедь старой интеллигентской веры. Впрочем, даже и с этой точки зрения новая проповедь должна была бы, по крайней мере, заинтересовать как новинка и хотя бы в этом, так сказать, эстетическом отношении иметь преимущество перед старой. Впрочем, возможно и другое сочетание чувств, которое, по-видимому, преобладает у г. Левина: если все одинаково ничтожно, то лучше уж остаться при старом. Так рассуждал рабби Акиба, пытаясь охладить мучительные искания Уриеля Акосты своей усталой мудростью⁷.

Несмотря на несходство настроения г. Левина, с одной стороны, и господ Философова и Игнатова — с другой, их оценки совпадают в том, что уклоняются от *обсуждения по существу* поднятого «Вехами» вопроса; во всех этих отзывах чувствуется какой-то упадок интереса к правде — различно мотивируемое, но психологически тождественное нежелание участвовать так или иначе в *борьбе идей*. А именно эта борьба идей только и интересует писателей, высказавшихся в «Вехах».

Нас утешает мысль, что ни шовинистический задор г. Философова, ни более умеренный консерватизм г. Игнатова, ни раз-

очарованное равнодушие г. Левина не выражают подлинного голоса русской интеллигенции. Участники «Вех» имеют право думать, что они высказывают большее уважение к интеллигенции, чем эти ее защитники, своей верой, что в ней по-прежнему жив дух свободного искания истины, который не способен поддаться ни льстивому шовинизму, ни мотивам приличия и пресыщенного сомнения. Эта вера позволяет нам надеяться, что наши голоса, несмотря на все старания критиков заглушить их, не останутся без отклика.

(Слово. 1909. № 752. 2 (15) апреля)

